

Приезжал я в Пересыпь поздним вечерним автобусом. Во тьме шёл проулком к хате на поперечной улице. Наша хата с краю. Автобус с красными огоньками уже спешил по пустому полю к порту Кавказ. Приближаясь к углу каменного соседского дома, я пугливо загадывал: светятся, нет три окошка нашей хаты? Светятся! Слава богу, матушка там. Она мигом ловит стук задвижки на воротах и знакомой тенью придвигается с кухоньки, а то из сада. В это мгновение кто-то словно с небес окропляет нас вздохом старой жизни в Сибири: опять мы вместе.

Казалось мне, будто приезжал я издалека, после долгой разлуки – как когда-то на каникулы в Кривощёково. И стоит в углу тот же сибирский шкаф с зеркалом, в которое гляделся я там, на своей улице, в комнате с двумя окнами.

Я вхожу в тишину, в какое-то ожидание, в оставленную мною пустоту, меня потерявшую, я душою кланяюсь всем углам и книжному шкафу. На стене посередке портрет отца. Все годы он скорбно следит за нами с этой увеличенной фотографии, каждый Божий день напоминает, что когда-то до войны он был в семье главным,

72

всё о нас знает, но сказать не может... Под Запорожьем лежат его косточки. Писал в треугольном конверте: «Война закончится – увезу вас жить туда, где тепло и много фруктов». И вот мы переехали сами и его с собой взяли, но на портрете.

– Письма от крёстной нет?

Мать поднимает подол клеёнки, отрывает прилепившийся к столу конверт и подаёт мне:

– Почитай ещё. Она пишет: посылку с орехами получила. спрашивает, не надо ли картошки. Тридцать кулей накопала.

– Когда же мы поедем?

– Если летом не удастся, я уже потом не осилю. Семьдесят пять, шутка ли. Это сколько ж я просидела тут, никуда не выезжала?

– Четырнадцать лет, мам.

– Только в Темрюк да в Керчь, два раза за маслом плавала через пролив да ещё чего-то набрала. Забыла.

– Да ещё в Тамань в ночь на Пасху возили тебя. Храм старинный, казачий.

До лета ещё было далеко, но я прикидывал, как ей придётся выдержать дальнюю дорогу: три часа по степи на машине, в городе у меня переночуем, пять часов над землёй, спуск в

* Глава из книги воспоминаний «Одинокие вечера в Пересыпи».

Толмачёве, такси через Обь до вокзала, поезд в Топки.

«Господи, заехала ты, сестра, на кулички, что и не дотянешься до тебя. Как ложку возьму в руку, так и тебя вспомню. Может, ты, сестра, собралась хоть бы на недельку, всех бы повидала. Вчера приходили дети, поужинали в честь моего рождения. Люся сказала: «Живи, мама, долго, а то нам не к кому будет пойти». Да, говорю, я рада вам и не могу, чтоб детей своих плохо приютить. Мама у нас тоже любила угощать. Завтра будем крестить внучку. Я сегодня ухандокалась, готовила всё, холодец варила, котлеты жарила и устала, вот села тебе письмишко черкнуть. Бураны в этом году надоели, давно не было такой зимы, правда, не морозная, но бурная была. Посмотрим, как лето: если будут дожди, то урожая не жди на нашем огороде, мы живём на мокром месте. Дорогая сестричка, посылаю я тебе к дню рождения скромный подарок – сальца, купила и посолила; и ещё рубашку, не обессудь за такую бедность. Есть ли у вас там домашние тапочки и резиновые калоши? Купи мне, в долгу не останусь. Твоя Галя».

Мать слушала, царапала ногтем клеёнку и плакала. Бедно душе там, где нету родни.

– В Темрюк поеду, куплю ей и себе. Тебе надо? Может, Ольге?

– Мам, ну такое скажешь...

Опять Сибирь проникла в наш двор.

– Меня уж на нашей улице позабыли и не узнают. Кто там остался? Шальневых нет, Банниковых давно, Минтюковы все разъехались. Поступинские, Шишкины, Мухортовы, Брыли – никого. Молодёжь одна. Боюсь думать. К чьему углу прислониться? И не переночуешь. У дяди Степана гостила твоя тётя Таня из Елизаветино, мы с ней дружили когда-то, тридцать три года не виделись. Они пришли ко мне, дядя застучал в окно, я вышла, думала, кто чужой. Он говорит: «Узнаёшь наших?» А я: «Нет». Потом по глазам узнала. Провела их в избу, полезла в погреб, груздочков, помидор, огурчиков достала, ну и посидели, потом ходили к дяде на Демьяновскую, там стол накрыла Гульдя, посидели. А теперь куда пойдём?

Я всё представил яснее ясного.

Три часа мы затратим на переезд в Краснодар, переночуем, брат Ольгин отвезёт в аэропорт и, если не помешает погода, вовремя под-

нимемся на самолёте в небо, четыре-пять часов (с посадкой в Омске) полетим над невидимыми землями туда, где ещё тянется на запад наша улица Озёрная. Ни с кем почти не переписывался. Жива ли тётя Гульдя, вдова дяди Степана? Родня по отцу держалась последние годы в сторонке. День-два потолкаться у кого-нибудь, но у кого? Уличных соседей беспокоить не хотелось, там уже стариков мало.

– А мне, мам, так хочется поночевать недельку на своей улице. Поездом телепались бы четверо суток, а тут скоренько: утром сели, а в аэропорту Толмачёво ещё вечер! Возьмём такси, поедem к племяннику Шуваеву. Да нет: племянник написал, что в конце июля уходит в отпуск. Тогда куда же? Тогда к кому-то из друзей детства. Многие адреса потеряны...

– У кого? Теперь уж кончилось. Как гуляли все вместе на Девятое мая, Новый год справляли. Все ж рядом были. Из Верх-Ирмени к Банниковым, Шальневым, Поступинским приезжала родня. И все к нам заглядывали: «Ой, сын твой как вырос».

Засыпаем мы ночью. Я лежу, а в комнате ещё горит свет и мать что-то ещё перебирает, ходит туда-сюда.

– Мам, хватит тебе возиться, ложись.

– Да пуговичку хочу тебе пришить, оборвалась на пиджаке.

– Завтра пришьёшь.

Встанет она опять раньше меня. Всё как в Сибири когда-то. Утром в полудрёме во мне нескончаемо тянется сожаление, мне больно оттого, что я когда-то уезжал из дома; и я не желаю просыпаться. Наконец открываю глаза и лежу в слабости этой приснившейся муки, вижу себя в медленном давнишнем поезде, постукивающем по рельсам в сторону юга. Ехал в закудыкину даль на неизвестную долю. И прижился, и мать перевёз. Я опять проснулся в Пересыпи! Усаживаюсь в кресле перед тремя окошками, прикрытыми на ночь занавесками в цветочках. Так же в детстве я подолгу сидел после сна на приступках крыльца, а матушка, ещё молодая и крепкая, цедила сквозь марлю молоко. Короткое сибирское лето улетало за край улицы в какие-то завидные страны. И я в оный день ускакал далеко, не предчувствуя опасных потерь для своей души. И вот на рассвете мне всего утерянного так было жалко...

73

И вот удивительно: я позабыл, как мы собирались и уезжали в Новосибирск; как я покупал билеты на самолёт, кто нас провожал, на кого мы оставляли хату и подворье. Странно, что и дневничка той поры я в тайниках своих не найду.

Помню разве что, как матушка, и без того в жизни не бойкая, вовсе оробела перед отлётом, а в самолёте виновато притихла. В один миг всё показалось ненужной сказкой: зачем-то она покинула Кривощёково, где прожила сорок лет, и зачем-то через четырнадцать лет захотела повидать улицу Озёрную. Годы пролетели стрелой. Мне не дано в точности представить, что она передумала за эти годы, какие искры воспоминаний, грусти, боли мелькали в её душе. Не знал я, о чём она думала в самолёте или когда проскочили мы на такси мимо улицы Озёрной, спустились по улице Станиславского, свернули на дорогу к Оби и вошли в вокзал, где она не раз провожала меня на южный поезд. Всё в нас самих, не найдёшь слов.

– Будем ночевать или сразу к крёстной поедем? – спрашивала она, когда объявили: «Мы прибыли в Толмачёво».

Толмачёво! Самая близкая была деревня к нашей улице. Коров к ней гоняли пасти. Чуть сбоку Дюканово, я ходил туда в библиотеку за книжками Александра Дюма. Мы на юге про всё забыли. Толмачёво за болотцем, за любимыми моими мосточками. А теперь вавилонский аэропорт.

– Поедем за Обь на вокзал, там кемеровский поезд ночью отходит.

Время по-сибирски забегало вперёд: на западе ещё обедали, а здесь уже шли с работы.

Горе – пережить ночные часы в роли транзитного пассажира. Билетов на ближайший проходящий поезд (604-й) не досталось, и мы безропотно пристыли к высоким спинкам жёлтых скамеек. В новой кофте матери стало жарко.

– Пойду куплю бутылку воды.

Я боялся её отпускать, через десять минут тревожно выглядывал её. Как-никак, а ей уже семьдесят шесть. При ней я всегда чувствовал себя по-детски, никак не дорастал до взрослого достоинства. Всё детство я беспокойно ждал её с базара, из женского общепита, куда она носила молоко, с сенокоса. Страшно было подумывать, что матери вдруг не будет рядышком. «Ну где же она?» – спрашивал я у стен, у чужих лю-

дей, мелькавших вдаль. Не переменялся я за годы. Наконец она выступала из живого ручейка, шла, шоркая подошвами по плиточному банному полу, и такой предстала маленькой, старенькой и отжившей своё... Да, старенькой явилась холодному городу Таня, Татьяна Андреевна, прописанная когда-то по улице Озёрной, за Обью, и незаметно обрела ветхость нашей покойной бабушки Анастасии Степановны, которую я тут же, через этот же зал ожидания, вёл под руку давным-давно. Ветхость матери на этой станции суждено мне запомнить навсегда. Как будто библейской тенью прошли мы по её ступенькам в ту ночь и кто-то на небе заметил нас равнодушно.

– Воды нету, купила кефиру, – сказала матушка и присела сбоку.

В дороге старый человек не спит, с лёгкой покорностью дожидается малой милости и не ропщет. А моя душа томилась в печали. За Обью в нашем «отцовском доме» уже заснули другие хозяева, привыкли, живут, будто до них там никого не было, всё переставили и переделали. Как же так? Мать столько лет копошилась во дворе и на огороде, засыпала и пробуждалась, выгоняла в стадо корову, чистила в стайке и много-много раз белила стены и печку – и никаких следов. Мне хотелось тотчас сорваться с места, сесть в электричку, переехать по громкому мосту через Обь и от станции Кривощёково (теперь Новосибирск-Западный) идти снизу вдоль трамвайной линии на горку, коснуться угла у дома Шальневых и застыть у нашего первого дома № 4. О, какое наказание – чувствовать себя перелётной птицей в родном углу! С этой станции матушка не раз ездила в Топки к сестричке Гале, уедет нынче и вернётся, но не навсегда.

Из зала ожидания на втором этаже, где мы скучали и прислушивались к объявлениям о прибытии поездов, двери раскрывались на короткий мостик, выводящий к площади с зелёными огоньками такси на стоянке. Ко всему я приглядывался с необычным вниманием, всему удивлялся, хотя тут, на знакомой земле, шевелилась та же жизнь, что и везде. Но насколько же она была милее! Прогудела и отошла к Оби пригородная электричка («передача» – называли после войны местное движение через Обь). Я опять загрустил. Старая железная дорога

опять потянула меня на левый берег к станции, с которой я махал тридцать лет назад рукой на прощанье. Электричка в темноте разогналась к Оби, тихо застучала и выгнулась, с шипом пристала на минутку у платформы перед мостом, построенным ещё в девятнадцатом веке, и ярко заблестела окнами над затоном внизу, левым боком замелькала вдоль Горской, потом городского сада, четырехэтажной школы № 73 в отдалении, мимо замершей до утра трамвайной кольцевой линии. Сколько электричек прогудело в западные просторы без меня! И что же я написал о своей отчине? Почти ничего. Если бы я жил дома, не Тамань и станица Пашковская и не Пересыпь свили бы гнезда на моих страницах, а Верх-Ирмень, Тогучин, Криводановка, Северное. Как захотелось мне остаться в самой глуши и послушать чалдонов! У нас в Сибири всё дальше, всё огромнее, зимняя тоска тревожнее, глубже, долгие мечтания о летнем тепле слаще. Сейчас бы поднялся сказочно с этого вокзального мостика и полетел во тьме в Северное. Неужели там ещё кто-то живет? Это так далеко, пропащая окраина. «Что ж ты? – обидчиво и робко посылали мне упреки и улицы, и дома, и огороды, и лавочки в саду возле моей школы, да и сам город, разделённый Обью. – Чего ж ты так оторвался от нас?»

С висячего у стены телефона позвонил я писателю Коньякову. Он жил рядом, на улице Челюскинцев. Посылал он мне на юг ласковые хвалебные письма, и это с ним ходил я по своей Озёрной десять лет назад.

– Тебе не тяжело будет возить мои книжки? – сказал он, протягивая мне свои сочинения.

Мы постояли с часок на том же переходном мостике, поговорили о местных писателях, о чалдонках в Остяцке, той деревне за Северным, которая закрепилась в моей повести.

– Ну, что ты тут пишешь, как графоманишь, почитаю в Топках. «Далёкие ветры». Ладом. Так сибиряки говорят?

«Ударишь калиной по воде у берега, вожжа лопнет глухим пузырьком и растянется кругами, ломая и раскачивая перевёрнутую зелень осоки».

– Как у нас на болоте. Идешь к дяде Степану, потом назад, лягушки спрыгивают в воду, пивки дёрнуты. Спасибо.

Только в четыре часа утра уехали мы 30-м поездом. Я тотчас заснул, а мать моя, погрузившая от своего возвращения ненадолго, так и просидела часы, караулила станцию Топки и разбудила меня заранее. Был уже девятый час.

В Топках я родился пятьдесят три года назад. Рядом со станцией стояло здание, из которого меня принесли спелёнутого в дом на улицу Кузнецкую. Два месяца всего жил я здесь младенцем. Если бы не революция, мог бы появиться на свет и в Елизаветино или в Бутурлиновке. А может, и вообще меня бы не было. Глубока тайна сугубого мгновения. Года, наверное, через три меня привозили к бабушке; какое-то видение смутно закрепилось во мне: меня несёт отец на руках от ворот, мы уезжаем, что ли, назад в Новосибирск.

Здравствуй, забытая станция. Это маленький Витя явился к своей купели.

«Станция Топки... Какая кругом сибирская простота!» – под это сдавленное восклицание души открывалось мне всё, что я позабыл вдалеке.

Никто меня не помнит, да и я сам лишь чуть-чуть вижу себя в далёких днях.

К бабушке в Топки я ездил не каждое лето, а после окончания школы всё реже и реже. После пятого класса матушка насмелилась отпустить меня одного, посадила в вагон и упростила попутчиков разбудить мальчика на рассвете в пятом часу. Всё в детстве было далеко: край улицы, эта бабушкина станция и верхушки тёмного березового леса за болотом. «Он не боевой у меня, побоится спросить, так вы уж, пожалуйста», – доверяла меня матушка надежным по виду людям. Я и правда был пристыженным, всех сторонился, больше молчал. «Сбегай к тётке Моте, попроси закваски», – говорила матушка. «Мам, – ныл я, – сходи сама».

И она догадывалась: я не смею переступить чужой порог, поздороваться и попросить. «Как же ты, когда вырастешь, жить будешь? Несмелый какой. Ни одна девчонка тебя не полюбит». – «А я не буду жениться». – «И рубашку-то постирать будет некому. В кого ты такой? Отец был удалой, весёлый. В гостях на одном месте не усидит, так и крутится и никому слова не даст вставить». – «Где я научусь? Ты меня даже к бабушке не пускаешь». – «Ну, поезжай. Как раз покос. Земляники поешь». Никого я в

жизни так не слушался, как мать в детстве. Наверное, мне было её жалко, молодую, красивую, одинокую, не ридикуль прижимавшую под мышкой, а таскавшую вёдра с помидорами, огурцами.

Бабушка жила с младшей дочкой Галей и редко ездила к нам, всё выкладывала по чужим домам печи, славилась в Топках как великая мастерица. Она не баловала меня нежностью. Крестьянка, вдова, она всю себя поровну разделила между шестерыми детьми и тьмой близких и дальних внуков, меня окликала не иначе как Витько. Но с какой радостью я к ней ехал! В Топках ещё дядя, мой крёстный, целым и невредимым вернувшийся с войны и повидавший в Харбине русских эмигрантов-белогвардейцев.

На улице Кузнецкой (номер дома забыл) бабушка жила до последнего дня, а уж после неё крёстная купила дом на улице Чехова. Мы постояли, помолчали, мне было жалко, что крёстная переменяла жильё. Другие хозяева, всё по-другому в комнатах. Колодец с солоноватой водой засыпан, наверное.

Много странствовал я, пока родичи мои толклись во дворах, чужие земли видел и помолился у Гроба Господня в Иерусалиме, посылал из Греции, Турции и Америки весточки в Сибирь, и всё некогда было завернуть сюда. И стал я уже не таким родным этому топкому месту. В какую-то пору суетливой беготни по жизни беспечно теряешь родню и выдумываешь оправдание...

Какая кругом сибирская простота и удалённость! Как потихоньку возникают леса за крышами, подсолнухи в огородах, крапива у заборов, поленницы дров, болотный запах, всё те же деревянные дома – всё, как и при бабушке Анастасии. А её уже нет. Отсюда она выезжала только к нам и раза два в Елизаветино повидаться с братом Тихоном и прочими родичами. И вот (теперь горюю) побыть бы тогда рядом с нею, походить вместе по деревне да послушать, как они, её подруги и соседи, ворошат старину, переспрашивают друг дружку (что да как, да кто куда делся), и написать поподробней, больше, может, и не захотелось бы портить бумагу. Эту потерю я со страданием буду держать в душе до самого конца.

Мы долго шли к дому № 199, наконец улица снизилась в покатый овраг, выровнялась, и тут сразу же на левой стороне приветила нас берё-

за над крышей, и мы узнали, за какими окнами писала нам письма Галина Андреевна.

– Ох, сестра-а...

Вздых сестры Гали опечалил все годы разлуки. Матушка и моя крёстная вытирали платочками слёзы и с причитанием проговаривали слова, не двигались с места. Я стоял немой. Сёстры соединились в одну душу. В одной люльке колыхались, вместе росли, все женские, семейные секреты с ними, вместе плакали у гроба матери. Галя была моложе на семь лет, в плечах широкая, похожа на отца: высокий лоб, костистые скулы, а глаза нашей бабушки – «точками». «Завивались мои кудри с осени до осени, а теперчи мои кудри завиваться бросили», – пели сёстры в молодости в застолье, пели с улыбкой, да вот уже пришла пора жаловаться всерьёз. Галя жалела сестру, горевала, что она в их роду несчастливая. Раньше письма посылались за двести вёрст словно через дорогу, всегда можно было скоренько повидаться, чем-то утешить. Не было сроду между ними сердитости или обид, только переживания: как там сестричка? И не приснилось ни разу, что в последний срок не смогут и попрощаться: далеко! Живой голос прервётся надолго. А будут одни письма да письма: «...крепись, сестра, что поделаешь, надо будет как-то доживать», «...мне хоть дочка кружку воды подаст, а ты там в Пересыпи одна...»

За столом они понемножку привыкали к обычным беседам.

– Ты писала мне: приезжай. Люся читала письмо, и все плакали. Не близко поехать, а жалко, вы там среди чужих.

– Я тебя сколько раз приглашала на август, сентябрь, – благодарно извинялась мать за то, что к ней тяжело добраться, – ещё тепло, винограду много. Витя тоже ждал.

– Как-то я боюсь, много пересадок. Здоровье уже не то. Отпрыгалась. К вам прямого самолёта нет, поезд до Анапы через Топки не идёт.

– А я в мае сколько раз загадывала: ну, проведу, а у них старая картошка уже кончилась, а новой ещё нету, будет тратиться. Да и свой огород тянет.

– Нонче картошка уродилась хорошая, для себя всего засолили, можно не горевать. Что ты, Витя, худой такой? Жена, поди, ленится у

печки стоять? Сейчас буду закармливать тебя, ты картошку всегда любил.

Как и в детстве, когда я приезжал, бабушка с бабушкой строго смотрели на меня со стены, с увеличенной фотографии, напоминая мне, на сколько лет я расстался с роднёй.

С огорода видна была берёзовая роща, и мы пошли туда к вечеру проведать могилу бабушки. Мать целовала фотокарточку, вправленную в камень, плакала, звала бабушку оттуда, «где все будем», и я переживал за неё: плачет она ещё и по себе, легла бы когда-нибудь в этой же оградке, племянницы Люся и Таня ходили бы к ней, а на чужой стороне и птицы прилетят чужие.

– Мама мне давно не снится, – сказала крёстная. – Довольна или обиделась на меня, не знаю. Год отмечала как полагается. И потом. Если нас так помянут, то хорошо, мама не должна бы сердиться, отпела в церкви и на десять лет, приглашала с церкви семь старушек, и они пели перед обедом.

Шли с кладбища медленно, печально, будто похоронили бабушку ещё раз. Зря крёстная страдала, что бабушка сердится на неё. На все родительские дни да и так, когда кого-то из соседей понесут к вечному покою, входит она в оградку, всплкнёт и беззвучно помолится. А глядя со своего огорода в сторону рощи, каждый раз скажет что-нибудь материным косточкам.

«Не жди старости, ни лета долга...»

Я шёл сзади как-то виновато: годы изгнали меня из повседневной жизни родни. Мать моя была ближе не только к сестре, но и к племянницам и племянникам, к их детям, к бабушкиным подружкам, ей было о чём поговорить с ними, что вспомнить, а я оторвался, нажил себе вдалеке друзей и знакомых, всё раннее растерял. И писем моих ждать перестали, и не погулял я за столом, когда материн брат Василий приезжал из Сальских степей (из Зимовников), а сестра отца Татьяна Фёдоровна – из Елизаветина. И только на фотографиях увидел их вместе.

В доме матушка радостно взялась помогать сестре: чистила и варила картошку, вежливо раскладывала огурчики на тарелку, завела тесто, вся светилась милостью к самой себе: это я для сестрички, мне с ней хорошо, она ж мне родная.

Пока я читал местные кемеровские газеты, дышавшие своими приметам и названиями деревень, городишек, сестра Галя, моя крёстная, докладывала матери о старых топкинских знакомых:

– Чувашка переехала к внучке в казённый дом, там пожила месяц, видит, что не нужна, и купила себе избушку, я её навещаю. Плачет, что скучно, сын не пишет уже год. Сыны продали дом за одиннадцать тысяч, разделили, а матери дали сто рублей.

– Хосподи-и, какая нонче пошла молодёжь...

– И Ареиха горюет, живёт одна, чуть приболеет – никого рядом, умру, мол, и буду лежать. Внуки ходят только по выходным. А сестра её живёт в конце, подметает автобусные остановки. Мне сыночек хоть ограду переделал, на двадцать лет хватит, только жить уж осталось мало...

– Жили, чужую старость видели, а свою и не ждали.

– Ты там в Пересыпи на огороде хоть тяжёлого не делай, не угробляйся.

– А забываюсь. Грыжа, а всё равно таскаю вёдра. Забываюсь.

77

К вечеру показался в калитке Фёдор Андреевич, худой, лицо костлявое, вытянутое, глаза отцовские, круглые. Я его любил, а он, хоть и считался моим крёстным, обо мне забывал и никаким особым чувством не радовал. Сестра Галя осуждала его за мягкотелость, покорность в семейном быту. Приехал на велосипеде с той стороны железной дороги с алюминиевым бидончиком (нарвать у сестры смородины), как-то жалко держал его пальцами, поставил в сенцах возле кадушки. Постарел. Где тот холёный Фёдор в год возвращения из Харбина? Трудно поверить, что был на войне с японцами. В 1947 году проведаль он нас с матерью на Озёрной, похвастался китайскими шелками, раздал фотокарточки, на которых выглядел ещё сытнее, в светлой дублёнке с курчавыми отворотами, не герой, но из армии победителей, и я гордился им, сам бы хотел повидать японцев и китайцев в каком-то Харбине. Как раз перед поездкой мне досталась книжка «Ветка русского дерева» – «о моём городе», с чужим посвящением кому-то неизвестному, «об истоках моих, где я росла в далёком Харбине, от чего не уйти мне

до конца жизни» (подпись была неохотная, скрытная). Какое-то потерянное русское величие, надежда, счастье, потом горе страдания покрылись травой забвения, и почему-то никому не было жаль такой пропажи, никогда в кругу писателей не заводилась речь о Харбине.

За столом крёстная, матушка и сёстры Люся и Таня перебирали свои женские да домашние истории, а я вытягивал из крёстного воспоминания о Харбине.

– Я ж попал в Маньчжурию с заключения в пересыльный лагерь. Нас сорок человек одели в военную форму, погрузили в теплушку и повезли к маньчжурской границе. Там мы в маленьком городке охраняли наших офицеров, которые руководили передвижением войск...

– Овдовела я посреди пути: от молодости отошла и к старости не пришла, – слышался мне и голос крёстной. – Хоронили Ивана Ивановича, погода стояла тёплая, без снега, выпал снег только к девяти дням, и похолодало. На похороны Люся, Таня, Володя дали триста рублей, брат Фёдор... – она стихла и добавила потише, чтоб крёстный не услышал, – двадцать пять...

– Как раз пенсию задержали... – оправдал крёстный свою скупость.

– ...Кузя – десять, племянники купили венок, музыку нанимали, обедало восемьдесят человек, водки брали два ящика с половиной. Двадцать пять дней жил на одной воде. Одни кости да кожа, господи. Наказывал, чтоб похоронили с братовой женой. «Похороните, – сказал, – рядом с Анной Васильевной, она будет мне там песни петь». Жили мы с ним недружно, но всё равно жалко.

– ...а потом город Хайлар, – продолжал крёстный, – он в низине, кругом горы, там мы простояли дней шесть. И увидел я Харбин, ему полвека всего, а какой стройный, двадцать церквей, река Сунгари, пристань, русских много, из тех, что жили давно, и других, что бежали от большевиков. Меня назначили поваром и дали мне в помощницы, как бы сказать, эмигрантку, на вид хорошенькая, наши офицеры за ней гонялись, но я ей не разрешал, как бы сказать, с ними возиться да и был, как бы сказать, не последний, отъелся на кухне, выглядел дай тебе бог, нравился ей. Она была женой секретаря маньчжурского правителя, его наши взяли, и

она мне говорила, как ей надоело жить среди японцев и китайцев. Я ей посоветовал уезжать в Россию, но она сказала: «Нет, мы там не нужны». Многим давали визу, но боялись и уезжали в Австралию и в Америку. И в сентябре мы оставили всё вооружение 8-й армии Китая и с офицерами последними выехали через пограничную заставу к себе домой. Я женщинам набрал шёлковой материи, вееров, тогда это считалось богатым подарком. Харбин не забуду...

– И я вам завидую. Читал «Ветку русского дерева», и так захотелось в то время, ещё до войны, пожить в Харбине с теми людьми, которые (тоже читал об этом) и у нас (кто вернулся), и в Австралии, в Америке воспевают само слово «Харбин», не могут забыть.

– Эта моя помощница читала мне стихи, так что даже я (память никудышная) переписал. Что тетрадку ни раскрою, стихи там, прочитаю, вспомню её взгляды, и стихи запомнились, и она сама долго перед глазами казалась.

*Был дом с обветшавшим дрожащим крыльцом
И девушка с милым открытым лицом.*

Да, было крыльцо, выходившее в сад.

Но только, должно быть, лет двадцать назад.

Я отлучился в другую комнату, вытянул из портфеля книжицу, вернулся и прочитал крёстному и замолчавшим женщинам стихотворение:

*Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построено
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек –
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик-историк,
Вспомяни о нас.
Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забегит турист.
Он возьмёт с собой словарь
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!*

Все помолчали.

– Про что это? – спросила наконец матушка моя. – Не про Новосибирск наш?

78

– Мам, ты такое скажешь... Шёлковую блузку и платочки откуда привозил твой братец?

– Из Китая, – виновато ответила она.

– А в Китае есть город Харбин. Бог мой, как я хочу в Харбин.

– Поезжай.

– С кем? Легко сказать. Грешен, я и в Елизаветине не был.

Я вышел в первую комнату, прилёг у печки, над головой моей висела фотография деда Андрея с бабушкой Анастасией. Бабушка смиренная, а дед с усами, красавец, прямо из царского конвоя, породистый офицер, в кого он такой – по роду-племени вовсе не помещичий, а крестьянский сын. Бывальцев. А точнее – Бывалец, крёстный так и пишется в паспорте. Хохлы. Из Малороссии. Никогда уж не узнать, как звали ту мою родню, которую привёз из Малороссии граф Бутурлин в Воронежскую губернию. Бабушкина веточка – Гайворонские. Но это по отцу, а по матери?

На стуле лежал писательский журнал «Огни Кузбасса». Стихи какого-то Богданова Александра. Не знаю такого поэта. Везде пишут стихи.

*Вдоль чугунной ограды,
Шелестя в ветерке,
Вы гуляли по саду,
Направляясь к реке.
И у ног, будто пламень,
Август лёг не дыша.
Был и лёгок и плавен
Ваш божественный шаг.
Он, созвучью в угоду,
Был похож неспроста
На хождение по водам
Иисуса Христа.
И с деревьями листья
Утерявшие связь
Над асфальтом повисли,
Не решаясь упасть.*

Я встал и вернулся к столу.

– Вовка приехал из Новосибирска, – вещала потихоньку за чистым столом крёстная. – Помог кой-чего по дому, дров нарубил, снег поткопал, я постирала шторы и постельное, он мне воду таскал, старалась подкормить его. Спросила, как с Татьяной живёт, он промолчал, а Люсе сказал: «Будем, наверно, расходиться». А она матери своей сказала, что ошиблась, «не

буду с ним жить». Подадут если на размен квартиры, а там очередь два года. А у Люси тоже... Сергей пришёл с армии, так сразу его Галя забрындилла, два года молчала, Люся и её, и внучку кормила, то ей нравилось, а тут стала губы дуть, пол целый месяц не мыла. Люся тогда говорит: «Чем губы дуть, идите лучше на квартиру. Поживите отдельно. Я вас не держу». – «Мы уедем». А денег ни копейки. «Уезжайте, но вам денег на дорогу не дам». И всё. Ушли. А работа у Сергея такая, что можно и задержаться, он возит завхоза по деревням и по городам и дома бывает не вовремя. И вот сейчас пыль до потолка: вовремя не приходит и зарплата маленькая, разойдёмся. Пол не помоеет – скандал. А сама сидит, что-то вяжет. Вот такая сноха попала Люсе.

– Крёстная, – перебил я, – а вы так и не съездили в Елизаветино? Не тоскуете?

– Бабушка за нас ездила. А что там? Плакать только. Дома нашего нет. Как замуж вышла – не до поездок. Огород, покос, корова, куры, хрюшки, забот хватало. Кто из наших хохлов (в основном проводники) едет, на станцию Таловую, родня деревенская к своим выходит, привезут новости: кто живой, кто как. Оно как-то легче станет, когда своих встретишь. Я как от Тани получу посылку с вареньем, так плачу, оно и варенье как будто роднее.

– Сколько вас было у бабушки?

– Шестеро осталось, когда отец помер, – сказала мать. – Считай. Мы с Павлом двойняшки. Алёша. Фёдор. Василий старший. Галя самая последняя. Всех коллективизация выгнала. Мы-то в Топках вместе были, а Василий женился, и мы не видели его девятнадцать лет.

– Как не больше, – поправила крёстная. – А тут пообещал: ждите, приеду. Мы засуетились, готовимся, заварили бражки (на водке нам не в силах принять), а он пишет: отпуск не дали, не приеду до следующего года... Ждали до февраля. Я поскорее заварила браги, как сейчас помню, на последние рубли, насчёт сахару было туговато, но я сумела достать и заварила. Двенадцатого февраля. И случись несчастье с Иваном Ивановичем. И пошла эта брага на поминки. А брат опять не приехал.

– Присылает Галя письмо, – помогает сестре рассказать мать, – брат пообещал точно приехать. Приезжай, сестричка, пораньше, хоть

чего сможешь. А конец октября. Я в то время жила одна, Витя в Краснодаре учится. Как ехать, на кого дом бросить? А охота повидаться. Тётя Мотя Чёрненькая на меня: «Езжай, мы тут посмотрим, корову подоим». Ну, поехала четвертого ноября. В Топках меня встретила Люся с мужем. А брата ещё не было. Через день мы на вокзал. Нету! Мы тут уже стали волноваться, почему долго нет: дал телеграмму, что выехал, а нет и нет. Потом шестого пошли шестером. Он ехал во втором вагоне. Галя его узнала сразу, как начал сходить. А Василий её не узнал! Галя сразу в слёзы. А мы там с Люсей всё у вагонов дальних пересмотрели, потом идём к вокзалу, а они стоят, утираются платочками, плачут. Тут и мы с Люсей подбегаем, я схватила первого брата за шею: «Ох, миленький, да откуда ты такой?» И плачу. И все мы плакали, люди на нас смотрят. Забрали чемоданы, пошли. Бабушка вышла за ворота в фуфайке. «Думала, вы и не явитесь», – говорит. Обняла его да в причет плакать. Назавтра приехал Федя с новой женой, тоже мы плакали. Сели, выпили, дядя Вася рассказывал про елизаветинских. А я всё время думала, что Витя далеко от нас, меня веселье не брало. На столе было белое вино, водка, закуска всяко-разная, картошка с мясом, сибирские пельмени, рыба жареная...

– Потом ещё седьмого я звала гостей, – вступила крёстная. – Было три стола, была гармошка, тоже стол был хороший.

– Я тогда прогостила в Топках до десятого. И уехала домой подготовиться к гостям. Наварила холодца, купила водочки, постряпалась. Я их уже не встречала, мне они не велели. Я их поджидала вечером, а они заявили утром. Приехали в Новосибирск в одиннадцать вечера. Их наша бабушка напугала: «У них там поздно не ходят – обируют, убивают». Так они до утра на вокзале мучились, потом в шесть часов стучат, я ещё спала. Василий говорит: «Не хотели, сестра, тебя обидеть, нагулялись и вздумали ехать прямо домой, но решили посмотреть, как ты живёшь без сыночка». Я приглашаю: «Давайте завтракать». – «Нет, не будем, лучше вздремнём. Но чтоб лучше спалось, налей в стаканчик. Не буди, покуда сами не встанем». Я пошла корову покормила, потом пошла на Демьяновскую к дяде Степану сказать, чтоб в

обед пришел с Гульдей, позвала Клаву Пирко, тётю Мотю Чёрненькую, Стратоновича с тётей Марусей. Вот и встретили. Дядя Вася – он не танцор и не песельник, но уж тихо не посидит, всё рассказывал, как он с дядей Степаном на Амуре отбывал ссылку. И всё Елизаветино вспоминали. Жена с ним была, он её «королевой» называл. «Моя жена помрёт – больше за меня никто замуж не пойдёт», – шутил. А вышло, что он раньше помер. Три дня побыли. И я всё жалела, что Витя далеко. Провожали мы его с новосибирского вокзала с Мотей Чёрненькой. У ворот нас квартирант фотографировал, карточка есть. Бабушка провожала до Банниковых, всё наказывала: когда, сказала, помру, да не сможете выехать, то вышли хоть немного на похороны. А сама плачет. И стояла, пока трамвай не проехал, всё плакала.

Неделю мы гостили в Топках.

Сёстры по полдня возились в огороде, выбирали лук, чеснок, морковку, сидели на перевёрнутых вёдрах, обрезали морковные хвостики, сбрасывали головки лука в корзину, разговаривали, истосковавшись по откровенным вестям друг от друга, а я ходил по огороду кругами, срывал малину и порою кое-что слышал.

Один раз напал на такую речь матери:

– Я пишу Вите, а потом говорю Василию Фёдоровичу: «Ну и ты прибавь хоть две строчки». А он: «Пиши сама, я не знаю, чево писать, не умею, пиши за меня». Был бы Витя ему родной, сумел бы. Нашелся бы чево спросить, выбрал время. А что ты хочешь, это всё чужое, да притом он с ним не жил, мама только и беспокоится, она родная: ложусь, встаю – всё он у меня на душе.

Я удаляюсь в садик, обхожу избу, чтобы больше не слышать про страдания матери без меня, где-то далеко жившего студента. Малина у крёстной крупная, я трогаю ягодки двумя пальцами, стою у забора, гляжу на зелёный верх кладбища вдали. И тихо возвращаюсь к корзинам.

Теперь говорит крёстная:

– Брата Василия нету сколько лет, а они нам всё пишут, да так, что зачитаешься. Денег высылали к поминкам. Ивана Ивановича во сне видела всего один раз, но всё отвечал со злом. Всё кажется, что у меня его давно нет. Если б я его любила, то я бы и скучала по нём или он бы

не злился. А почти до самой смерти был злой, помотал мне нервы...

Я опять сержусь на родню: в простонародье не берегут письма, и сколько я ни просил, никто меня не послушался. Все письма утерялись, все разговоры потухли.

– Куры синие, полудохлые, селёдки нет, один хек. Я езжу в деревню, тут за Топками, покупаю там сметану, бидон молока. Привезу, и на две недели хватает, хоть молочка настоящего попьёшь, а сметана – хоть ложку поставь.

Я буду кружить и кружить и немножко горевать оттого, что столько лет прожил без родни, что где только ни шастал, а до Бутурлиновки и до Елизаветина не доехал.

В магазине я купил «Воспоминания» Смирновой-Россет, но читать здесь не буду. Напишу письма друзьям-писателям в Иркутск, Красно-

ярск, в Курган и начну необычно: «Привет из Сибири».

Приехал как будто из-за границы.

Вечером долго ужинали, мать вспоминала, как переезжали из Топок в Новосибирск. Мне было несколько месяцев.

– А потом мы тебя привозили, уже годика три-четыре тебе было.

– Мне кажется, что я помню, как выносили меня на руках из бабушкиного дома тёмным вечером, и вроде бы слышу ещё и сейчас голоса ваши...

О, мои Топки... Я ещё покаюсь, тихо поскорблю душою, поругаю себя, ещё напишу что-то родное в поздней главе, ещё перечитаю старые письма от крёстной. Простите меня, Топки, редкого гостя, отпавшего от своей люльки.

